
Саша ФИЛБАР

ЛЕТЕЛ ГОЛУБЬ, ЛЕТЕЛ СИЗЫЙ...

Рассказ

Агишеву

Кладу голубя на руку —
Не тежится,
Переложу на другую —
Не ластится...

Русская народная песня

Мелодия, добравшись до высшей своей точки, вобрав, кажется в крещендо, весь воздух зала, весь его кислород, оставив онемевшую публику задыхаться, замерла на миллисекунду и обрушилась вниз, в пропасть, чтобы затихнуть, обессилев, прошептать неразборчиво финальный аккорд. Вместе с нею рушится и что-то внутри Кислицына. Ноги, согнутые в коленях, у него затекли, онемели, но вытянуть их он не решался — будто боясь спугнуть едва слышно, но еще звучащую то ли меж клавиш, то ли в нем самом музыку. Где-то там, за сценой, скрытая вместе с другими оркестрантами от посторонних глаз, находилась со своим роялем его Ольга. Правда, сама она не знала, что была его, однако про себя Кислицин всякий раз повторял: «моя». От этого «моя» ему делалось жарко в груди и как-то беспокойно в душе, как бывает первым в году снежным утром: проснувшись, лежишь, еще не открывая глаз, но уже чувствуешь всем нутром невыносимую, сладостную белизну, которая расплескалась за окнами, окутала, пленила улицы, и те стоят замерев, привыкая к новому одеянию.

Так вот, Ольга. Ей было около тридцати, и она обладала той внешней какой-то непоколебимой уверенностью, которая могла бы повести за собой народы, но конечной цели у Ольгиного шествия не было, и потому звать кого-то в свой поход ей не было никакого смысла. Некрасивая, но статная, несущая гордо свою некрасоту, так что многие ошибочно принимали ее за привлекательность, однако вскорости присмотревшись, разочаровывались, смущенно отводили глаза, обознались, мол, простите-простите. Ольга была похожа на не заверченный одаренным, но ленивым художником портрет: черты лица ее были как бы не прорисованы до конца, круглые, чуть навы-

Саша Филбар родилась в 1991 году в Москве. Окончила Российский институт театрального искусства — ГИТИС по специальности «театровед». Жила во Франции и Италии. Сейчас работает редактором литературного интернет-журнала в Москве. Пишет стихи, рассказы, сценарии и пьесы к театральным постановкам. Публиковалась в журналах «Новый мир» и «Иные берега». Представленный рассказ входит в авторский цикл «Бог покидает Антония».

кате глаза казались бесцветными, губы — слишком тонкими, едва обозначенными торопливым карандашом.

Впервые артист Женька Кислицын *по-настоящему* обратил на нее внимание эдак с полгода назад. То есть он видел ее и раньше: Ольга значилась пианисткой в театральном оркестре, и потому они то и дело сталкивались на сумрачных лестничных маршах закулисья, в буфете и даже несколько раз в метро, кивали друг другу и тут же расходились, как и всякие посторонние люди, которым решительным образом нечего сообщить друг другу.

Все дело было в локоне... Выбившийся в нужное время из тугого бесцветного, как и вся Ольга, узла на ее затылке, он заструился по высокому лбу, поделил надвое лицо и неожиданно попал в лучи апрельского, флорентийского какого-то солнца, бьющего в окна репетиционного зала. Сверкнул и тут же потух, осветив на мгновение нежный Ольгин профиль. Беатриче, пьятца дель Дуомо, аморе мио... Кислицын на некоторое время ослеп.

— Начали с третьей сцены! — рывкнул режиссер Неклюдов, и над его блестящей лысиной взметнулись подхваченные невидимым сквознячком несколько седых волосков. Его, тощего, иссушенного нереализованностью человека, в труппе держали за бездарность — Главному, Всенародному, Гениальному, Великому и так далее и так далее нравилось врывать на репетиции к Неклюдову и говорить:

— Ну что же вы, милый, етить! У вас же артисты, как после гулянки, того и гляди, концы отдадут, мизансцена разваливается, погодите-ка, погодите-ка, сейчас мы все поправим, вы позволите?

И Неклюдов позволял, потому что выбора у него не было. Главный и Великий в очередной раз подтверждал свои главенство и величие, Неклюдов подобострастно замирал, а после орал на артистов, чтобы сохранить остатки достоинства. Тут надо заметить, что Великому вообще нравилось окружать себя бездарными людьми — так он квитался со всеми, кто был талантливее его самого, посредственности наполняли его жизненной энергией, гении — старили. Те, кто успевал — вовремя увольнялись, разлетались по другим столичным театрам, уходили в кино, со скандалом вырывались из цепких старческих лапок, оставляя меж острых коготков вечного своего властителя клочья нежной актерской души. Оставался тот, кто оставался.

— Кислицын! — взвизгнул Неклюдов, заметив ослепшего и пораженного Женьку, который, съехав на самый краешек стула, застыл в таком странном, неудобном положении, устремив невидящий взгляд прямо перед собой. — Вам что, особое приглашение нужно?!

— Куда? — удивился Кислицын, с некоторым усилием возвращая себя в реальность.

— На сцену, батенька, на сцену, к славе-с, так сказать!

Неклюдов ерничал и кривлялся. Татьяна Павловна, народная артистка еще того, прошлого времени, канувшего давно в небытие, но по-прежнему значимого, когда дело доходило до регалий, украдкой смотрела на маникюр, согнув к маленькой ладошке сухонькие старушечьи пальцы. С маникюром было все славно, сама же Татьяна Павловна давно утратила и красоту, и свежесть и много лет ехала исключительно на былой славе. Петя Елохов, вечный мальчик — волоокий принц несуществующего королевства, ныне, правда, изрядно потрепанный судьбой и женами, а их у него было, неловко сказать, штук пять, и каждая сумела урвать в браке какой-нибудь бесценный для Пети кусок, с трагическим видом замер у окна, уставившись на какую-то дамочку в красной шляпе, которая, стоя на площади, тревожно оглядывалась по сторонам — высматривала кого-то. Ольга бесцельно перелистывала нотные листы. Всем было скучно. Дело не ладилось. Ставили какую-то неизвестную пьеску какого-то давно забытого (и черт бы с ним, ей-богу, но эта извечная неклюдовская страсть к поискам смыслов там, где их не было и в помине...) польского автора. Ольга, согласно замыслу, должна была,

невидимая, два часа тихонько наигрывать за сценой, а после, в самый кульминационный, трагический момент, когда жизнь, казалось, утрачивала всякую цель, а герои — надежду, выезжать со своим роялем на авансцену на дребезжащей, на какой-то раз по три в месяц возили на казнь Емельяна Пугачева в исполнении блистательного, но пьющего Саньки Иноземцева, телеге и олицетворять собой всепобеждающую силу искусства. Но то ли сила искусства никого не побеждала, то ли Неклюдов был с ним несовместим, в общем, Ольга казалась лишним элементом, а рояль — тот и вовсе притворялся, утратив всякую торжественность, вставной челюстью, небрежно забытой каким-нибудь беззубым титаном на театральных подмостках... Впрочем, все это было уже не важно. Главным по-прежнему оставался Ольгин локон, да и вся ее золотистая головка, крепившаяся к изящной шейке, у основания которой так ясно, так выпукло виднелись острые позвонки. Кислицын глядел на них, и душа его приходила в движение.

* * *

Зал наконец вышел из восторженного оцепенения и постепенно от робких, одиноких хлопков перешел к мощному крещендо оваций. Артисты потянулись гуськом из кулис — на поклон. Кто-то задел Женьку, чертыхнулся. Вот сейчас, сейчас снова, сейчас опять. Кислицын поднялся на ноги с пыльного, исхоженного многими поколениями комедиантов пола — на вельветовых, новеньких его брюках отобразились два пыльных пятна — и со скупающим видом прислонился к стене: нельзя было выдать себя ни жестом, ни вздохом, ни поворотом головы. Сейчас, сию минуту она пройдет мимо него, легконогая, прозрачная, *его*. И Ольга действительно прошла, вынырнув из-за плотной перегородки, которая скрывала ее от зрителя и от Кислицына, в простеньком своем черном платье, слегка замятом на сгибах локтей, но с неизменно кипенно-белым воротничком и такими же манжетами. Женька теснее прижался к прохладной штукатурке и принялся разглядывать выпуклые, застывшие холмики и неровности на стене. Сперва он ощущал еще легкий, невесомый запах Ольгиных духов (что-то цветочное, летнее, так пахла свежескошенная трава в Женькином деревенском детстве), но вскоре перестал различать и его. С некоторых пор Кислицын взял за привычку бывать на спектаклях, где не был задействован сам, — приходил он туда только за одним — послушать Ольгину игру — и всякий раз обещал себе, что в этот-то раз, когда она проскользнет мимо него, притиснув к себе детским каким-то, жалостливым движением папку с нотами, он скажет ей... Правда, что он скажет, Женька так и не мог придумать. Поэтому приходилось отворачиваться. Шли недели. Женька отворачивался. Ольга шагала мимо, одевалась и уходила.

Когда Кислицын на деревянных все еще ногах вывалился в коридор, Ольги уже не было. Не было на вешалке и ее бутылочного цвета старенького пальто. Что ж, следовало убираться и ему. На улице выудил из пачки сигарету, морщась, стал прикуривать — ветер все смахивал с зажигалки огонь, не давая тому добраться до кончика сигареты, приходилось уворачиваться.

— Закурить не найдется, старичуль?

— Что?

Какой-то хмырь, да что там, хмыренек, щуплый, невысокого роста, в дорогой, правда, куцеватой, открывающей при всяком неловком движении иссиня-белую полоску кожи на поясище — и это в такую-то холодрыгу — куртке подскочил к Кислицыну и теперь вертелся возле него, улыбаясь хитрой своей улыбочкой.

— Да ты что, братка, обалдел, что ли? Своих не узнает!

— Ветров?

— Он!

Обнялись, неловко, правда, — как-никак, лет десять не виделись. Славка Ветров, а это и действительно был он, когда-то учился с Кислицыным на одном курсе, слыл балагуром, умницей, далеко не бездарем, короче говоря, обладал всем тем, чего сам Женька у себя недосчитывался, но о чем мечтал в глубине своей души страстно, до одури, до тошноты. Потом, после выпуска Ветров как-то быстро и ловко вскочил в большое кино, попал, что называется, в струю и теперь катился на ней, окруженный восторженными дамочками с надувными губами-сардельками, деньгами и всем прилагаяющимся. Женьку он встретил незапланированно, можно сказать, по случайности, безбожно опоздав на аудиенцию к какому-то именитому продюсеру (а что, мог, мог себе позволить) и решившись в конце концов не приходить вовсе. И захотел вот, углядев вдруг в постоянном своем стремительном движении вперед и вверх знакомое лицо, подойти, перекинуться, так сказать, словом со старым товарищем...

— Ну что я все о себе-то! — возбужденно крикнул Славка — вечно он на повышенных тонах. Складывалось ощущение, будто слов в Славке так много, что они не помещались в его голове и следовало их вышвыривать из себя по нескольку сразу на предельной скорости и громкости, чтобы хоть как-то высвободить пространство.

— Ты мне вот что скажи, старичок, как ты-то?

— Да как, потихоньку. — Кислицын неопределенно повел рукой в воздухе. Ему не хотелось разговаривать, от Ветрова тянуло успешной жизнью и большими деньгами. Кислицына замутило.

— Плохо, плохо, братишка, что потихоньку. — Славка быстро затянулся сигаретой и тут же выбросил ее в снег. — Курить бросаю, видишь, все никак пока. Тяга, Женек, тяга, гиблое дело... Так я о чем?

— О том, что плохо, что потихоньку, — подсказал Женька.

— Да! Я вот что думаю: погодка дрянь, а что если нам это дело разбавить рюмочкой чего-нибудь крепкого? А?

И потянул, потянул Женьку за собой в тесные, захламленные пошлыми, обрыдшими гирляндами переулки Кузнецкого моста, в какой-то бар, где... *«В общем, бывало, бывало, старичок, всякое, знают меня там, короче говоря»*. Идти Кислицыну не хотелось, но отказать Славке отчего-то было неловко, и он плелся за ним, то и дело поджигая очередную сигарету и хмураясь. Сели в подвальном, душном и темном, пропитанном насквозь алкогольными парами закутке, где сновали торопливо меж натертых до блеска столов худосочные, плоскозадые (подбирали их, что ли, по странному, одному Богу или начальству ведомому лекалу?) официантки. Дождались, пока принесут по стакану пива.

— Ну, поднимем бокалы! — рявкнул Ветров и саданул по кислицынской кружке своею так, что на покрытую паутиной трещин столешницу выплеснулась рыхлая пена. Славка, жадно глотая, опорожнил зараз половину своей посуды и подмигнул Женьке:

— Так что, все так и сидишь в своем государственном?

— Так и сiju.

— Печально, печально. Ну ты не горюй, наладится!

— Да я, собственно...

Тонкая, с едва обозначившимися бугорками груди под плотной хлопковой футболкой и без всяких признаков бедер, так что со спины, ошибившись, ее с легкостью можно было принять за мальчика, девушка поставила перед Ветровым тарелку, на которой горкой высилось блестящее от жира, пахучее мясо. Славка подхватил кусок рукой и торопливо сунул в рот, пальцы у него тоже сделались жирными и блестящими.

— Ты пойми, старичок, только не обижайся, в нашей профессии ведь как, у каждого свой потолок, — сказал Ветров с набитым ртом. Получилось неразборчиво, но Женька понял, а Славка это увидел, оценил молниеносно достигнутый от собственных слов

эффект: — Вот ты своего достиг. И знаешь, я тебе даже завидую. Ты пришел, понимаешь? Все, харэ, конец пути, тебе можно успокоиться. А мне нет. Мне никак. А я ведь устал, между прочим.

Душно. Как же душно. Кислицын почувствовал, как шерстяной свитер наждачно царапает кожу. Форменная пытка. Он оттянул горловину. Затем поднялся.

— Ты извини, Слав, пойду.

— Ты что, обиделся? — засуетился Ветров, потянулся к Женьке, будто хотел схватить сокурсника за рукав, но потом вспомнил о безнадежно теперь испачканных руках и передумал. — В самом деле, братка, я ж не хотел ничего такого сказать!

— Да нет, мне и вправду идти надо.

— Ну, как знаешь, а я с твоего позволения... Да, — спохватился Ветров, — Светлана-то твоя, видали, видали, блещет на федеральных!

— Она не моя, — хмуро бросил Женька.

— Да знаю, знаю, не обижайся, сколько лет-то прошло!

Ветров отправил в рот очередной кусок. А Кислицын стал пробираться к выходу. На улице снова закурил, но от табака першило в горле, и Женька щелчком отправил недокуренную сигарету на мостовую. Постоял с минуту, а потом вдруг сунул со всей мочи голову в сугроб, расцарапав лицо о мерзлые комья снега.

Дома, едва ввалясь в узкую свою, захлавленную прихожую, принялся звонить. На том конце не отвечали. Тянулись один за другим унылые гудки. Не раздеваясь, не отнимая трубки от уха, Женька прошел в кухню. Там сквозь не до конца задернутые шторы пробрался в дом и растекся по столу желтым пятном луч от уличного фонаря. Хотелось курить. Женька рванул на себя оконную раму, и в лицо ему ударил промозглый февральский воздух. А, черт, пустая пачка. Голова дырявая. Длинные гудки сменились короткими. Кислицын вздохнул и вновь нажал на кнопку вызова. Украдкой взглянул на себя в зеркало, зачем-то прилепившееся к кухонной стене: на щеке алены свежие царапины. Рукой пригладил непослушные волосы. Первая седина уже тронула Женькины виски, правда, пока еще не так было заметно, но все-таки, все-таки... Ухмыльнулся сам себе. Даешь ты, старик, конечно, сорок лет в обед, а все туда же.

Он имел среднюю, с трудом запоминающуюся внешность — десятками такие мальчишки всякий июль толпятся, с прилипшим намертво к нежному лицу выражением напускного равнодушия, у дверей театральных училищ. И некоторая часть их, надо отдать им должное, успешно порхает с тура на тур, чтобы оказаться после в мастерской известного или не очень, однако всегда обожаемого до дрожи в коленках, до ломоты в груди *Мастера* и нести потом горделиво всю оставшуюся жизнь на себе фамилию своего наставника и учителя, говоря, как бы между прочим: «*Мы — муратовцы...*» или, скажем, «*Мы — андреевцы...*». А после четырех лет счастливой каторги выбирать: пробовать ли в МХТ или в Ленком или вовсе податься на вольные хлеба. Женьке выбирать не пришлось. Так до конца и не поняв, верно ли выбрал профессию, он с насмешливой покорностью, не стирая с губ легкой усмешки уличного хулигана, осел в известном театре на известной площади да так и остался там насовсем. За ним утвердилось амплу героя-любownika: Кислицын был в достаточной мере привлекателен, однако не настолько, чтобы при необходимости его нельзя было заменить кем-нибудь другим. Неклюдов, правда, настоял на серьезной роли, первой (и это в тридцать-то шесть лет!), но Женька был в проявлении лишних эмоций аккуратен и со дня на день ждал, что что-нибудь сорвется, а потому вел себя так, будто и роль, и Неклюдов были ему глубоко безразличны, грубо говоря, до лампочки. В общем, жизнь шла по накатанной, с каждым годом набирая скорость, больших свершений не предвиделось. В кино Женьку не брали, то ли из-за заурядной внешности, то ли из-за недостатка таланта.

То, что прежде казалось несущественным, смехотворным, теперь все больше обрело форму неудавшейся жизни. Еще неясно, зыбко, едва намеченным эскизом, на котором уже, впрочем, было все понятно.

Раньше, пусть и изредка, можно было дозвониться. Услышать в трубке звонкое «Алло!», а потом «Говорите же!». Но теперь Женьке только и оставалось, что слушать гудки. «Нежные», — думал Кислицын. Нежные какие-то гудки. Как будто можно было в них что-нибудь и в самом деле разобрать. Кислицын снова нажал на вызов. А потом еще и еще.

* * *

— Что, звонят?

— Звонят.

Ольга сидела на диване, положив ногу на ногу. На коленке у нее заходилась трелью телефон. Ольга к нему не притрагивалась, поглядывала задумчиво на вспыхивающий то и дело экран. Муж колдовал над тремя дощечками, прилаживал их друг к другу дельтой, отодвигался, смотрел задумчиво и снова разъединял — делал особый, треугольный птичий насест. Беспреданно звонивший Ольгин телефон ему мешал. Он отвлекался, никак не мог сообразить, как бы половчее приладить ту или иную деревяшку.

— Отвечать не будешь?

— Не буду.

— Так и будут звонить?

— Так и будут.

Ольга поднялась и пересела к пианино, сиротски уютившемуся в углу и казавшемуся чем-то чужеродным, лишним в этой комнате, сплошь заставленной клетками, заваленной досками и коробками с инструментами.

— Лелик, я прошу тебя, — поморщился муж. — Неужели за целый день не наигралась?

Ольга положила телефон на подставку для ног и сидела так, выпрямив спину, не шевелясь. Муж ударил молотком, и деревянный треугольник разлетелся, распался на части.

— А, чтоб тебя!

С лица Ольгиного мужа никогда не сходило выражение сосредоточенного упрямства. С ним он мастерил свои нехитрые поделки. С ним же тянулся к прохладной Ольгиной щеке — уколоть быстрым поцелуем. Когда-то, еще до Ольги, в далеких, лихих, он подавал большие надежды в коммерческой области, а проще говоря, у него имелось с десяток газетных ларьков, но потом то ли продал их во спасение мира (или одной отдельно взятой, но заботливо и навсегда вымаранной из памяти женщины), то ли просто устал, потерял вкус к жизни — история об этом умалчивала. Долгие годы муж обретался где-то на выселках в большом и пустом доме. Там же, в доме и за его пределами поставил несколько больших клеток и стал разводить редких и не очень птиц. На насестах громоздились, поглядывая яростно, строгие орланы, ястребы, тут же, за тонкой перегородкой хохлились лазоревки, вертели окровавленными мордочками чечетки, а на дальней голубятне ворковали, пели, смотрели внимательно белые и сизые с охровым отливом голуби. С ними у мужа сложились какие-то особенные, неясные, но теплые отношения. Муж выходил по утрам на крыльцо и глядел на птиц. Птицы радовались ему. Ему казалось, что во взаимной этой, необъяснимой радости единения, прикипания друг к другу живых существ и заключается полновесность жизни.

От прочих бывших дельцов своего времени, правда, Ольгиного мужа отличала одна особенность — он был ощутимо, можно даже сказать, до неприличия хорош собой. Высокий, со всеми причитающимися: крупные руки, буйные, богатого кофейного оттенка кудри, то и дело норовившие закрыть невыносимо-бирюзового цвета глаза и по-

тому беспощадно отшвыриваемые всякий раз с широкого лба, будто быстрым росчерком брошенное на бумагу, снабженное яркими (может быть, даже слишком) чертами лица. Ольга, питавшая страсть ко всему красивому и осознавая собственную внешнюю неоконченность, выбрала мужа за привлекательность.

Они познакомились в электричке, муж вез в Москву голубя Гайку — тот в суровом бою за территорию набросился на голубя Митьку. Митька вышел победителем, и Гайка затосковал. Косился понуро золотистым глазом, отказывался есть и пить — не вынес публичного унижения. Ольга возвращалась с какой-то халтуры и сидела теперь в переполненном вагоне, прижавшись боком к незнакомому еще мужу и клетке с Гайкой.

— Почему он не шевелится? — спросила Ольга.

— Не хочет.

— А что же он хочет?

— Ничего.

— Но ведь этого нельзя так оставлять. Нельзя ничего не хотеть! — возмутилась Ольга и строго посмотрела на своего будущего мужа, как будто он был виноват в том, что Гайка ничего не хочет.

— Что я должен сделать? — спросил муж.

Потом, позже Ольга будто бы на каменную стену наталкивалась на этот мужнин вопрос «Что я должен сделать?», бессильная перед мрачным, необъяснимым его нежеланием пускать ее хоть на толику в собственный, скрытый от посторонних глаз мир, ведь всякий раз это означало одно и то же: разговор окончен.

А тогда Ольга достала из кармана пальто телефон и позвонила знакомому ветеринару — достался от кого-то по наследству, а может быть, ему рекомендовали Ольгу и возможность сходить в театр в качестве благодарности за оказанную услугу — она не помнила. Главное, что номер был. И она позвонила, а потом поехала с мужем и Гайкой куда-то в самый конец фиолетовой ветки и сидела с ними, болтая ногами, как маленькая, от безделья и незнакомого, неясного чувства, что, возникнув где-то под ребрами, теперь окрепло, утвердилось в груди, на засаленной банкетке в ожидании очереди. Муж ни разу не спросил, зачем Ольге нужен и он, и Гайка, не спросил и куда они направляются, когда Ольга повезла обоих к себе — кормить обедом. Зналось как-то, понятно было и без вопросов, что теперь все и у мужа, и у Гайки будет хорошо. Крутилось только в голове надоедливо, что нужно заскочить в магазин — купить что-то к чаю, негоже вот так, с пустыми руками. За годы отшельничества забыл, как это бывает, как делается правильно. Всучил ей клетку с Гайкой, сказал:

— Погодите, я сейчас.

— Куда вы?

— Так к чаю, к чаю...

— Я не ем сладкое.

— Ну, тогда я соленого возьму.

— Не надо, умоляю, не надо ничего! Я же не за соленое вас приглашаю, честное слово!

Клетку, впрочем, не отдала — так и шла, обхватив ее двумя руками, и Гайка вдруг очнулся, загулил. Так все и началось. Муж, который тогда еще не был мужем, переехал в Ольгину московскую квартиру. Правда, не целиком. Часть его навсегда осталась с птицами. Чистый, почти аскетично, даже стерильно пустой Ольгин дом превратился в склад для клеток, которые муж мастерил сам. Теперь, чтобы добраться до инструмента, ей приходилось протискиваться по узенькому коридорчику, между прутьев и досок. К тому же ежедневно из года в год он ездил к себе в деревню, а вечером возвращался, и на лице его читались усталость и тоска от бесконечных переездов. Исклю-

чение составляли только те дни, когда муж выставлял птиц на продажу. Правда, и тогда ему приходилось ездить — на рынок.

— Давай что-нибудь придумаем? — спрашивала Ольга. — Нельзя же, в самом деле, постоянно ездить.

— А что тут придумаешь?

Птиц нельзя было выкинуть или отпустить. Птицы не могли терпеть, а Ольга могла. Так, по крайней мере, казалось мужу, а уточнять ему не хотелось. Поэтому, когда выяснилось, что терпеть Ольга не хочет, муж удивился.

— Я чувствую себя какой-то половинчатой женой! — кричала она. — Ты на ком женат, на мне или на птицах?

— Что я должен сделать? — спросил он и погладил Ольгу по руке. — Я ведь тебя предупреждал, что так будет.

Он всегда так делал, когда хотел поскорее закончить разговор. И всегда говорил: «Я тебя предупреждал», как будто от этого Ольге должно было стать легче жить. В голове у него от Ольгиного крика образовывалась какая-то ватность. Мужу хотелось, чтобы Ольга замолчала или ее вообще не было рядом. Тогда он собирался и ехал к птицам. Это было невыносимо. Ольге казалось, что она задыхается в клетках и птичьих перьях, казалось, задыхался и муж, который, словно зацепившись рукавом куртки за неудачно выскочивший из стены гвоздь, никак не мог оторваться от прошлой жизни и перебраться в новую, с Ольгой.

Сначала Ольга ждала, что птицы умрут. Ждала и чувствовала себя виноватой за то, что кому-то желает смерти. Но когда птицы умирали, их место занимали другие, а желать кому-то смерти постоянно не так уж и просто, и с Ольгой осталось только чувство вины. Без пожеланий. К мужу она испытывала материнскую, тоскливую нежность и была абсолютно уверена в том, что разрушила ему жизнь. Ночью, пока муж спал, заломив за голову руки, она смотрела на него и почему-то думала: «Бедный мой».

— Ну, ответишь ты или нет?

Ольга молча крутанулась на табуретке, не глядя на зундящий телефон.

— Сходи, в конце концов, в торговый, пусть тебе оператор заблокирует этого извращенца.

— С чего ты взял, что он извращенец? Ты что, ревнуешь?

— Не выдумывай. Ну, будешь ты отвечать? Сколько он тебе уже наяривает? Месяц? Два? Невозможно же терпеть!

Ольга подняла крышку фортепиано и нажала пальцем на первую попавшуюся клавишу.

— Позвонит и перестанет.

— С тобой невозможно разговаривать! Лелик, я прошу тебя, так хочется тишины!

* * *

Если не вставать до полудня, можно сократить день сразу на несколько часов. Особенно если речь идет о понедельник, выходной в театре, а значит, не нужно никуда тащиться. Итак, план таков: сначала как следует отлежаться, упоительно валяться в кровати, так, чтобы затекла спина, и желательно под музыку. Женька не выносил тишины, в беззвучии в голову ему лезли непрошенные мысли. Нет, мыслей нам не нужно, обойдемся и без них. Потом — неспешно завтракать. Поджаривать себе яичницу, смотреть, как краешки растекшегося по сковороде белка делаются ажурными, золотистыми. Между делом можно выкурить сигарету. В открытое окно. Этого, кстати, страшно не любила Верочка. Или, погодите-ка, Анюта? Кто же из них? Честное слово, мысли так и путаются в голове. Не хотят выстраиваться в правильном порядке. Пу-

таются и имена в голове у Женьки. Нет, все-таки Анюта. Анюта прожила у Кислицына дольше всех. Разумеется, актриса, правда, еще совсем юная, не испорченная чувством собственной значимости и таланта. У Анюты имелись длинные ноги, покрытые золотистым, как края у яичницы, пушком, и совершенно квадратная улыбка. Анюта была напрочь лишена мозгов, зато мечтала покорить Голливуд и отчего-то считала, что там, в Голливуде, улыбаться положено именно так: раскрыв пошире рот, являя миру полошадиному выпуклые, лакированные слюной десны. Кстати, во времена Анюты Кислицыну запрещалось не только курить в квартире, но и залеживаться.

— Не залеживайся! — кричала Анюта и чмокала сонного Женьку в щеку. — Жизнь проспишь!

Она съехала от Женьки еще полгода назад, а по дому до сей поры были разбросаны как будто случайно забытые ею вещи: шорты, свернувшийся улиткой тубик с остатками крема, красные туфли на широком уродливом каблуке примостились, притиснулись к Женькиным кедам. Дело в том, что Анюта выбирала между Кислицыным и каким-то своим однокашником и выбрала в конце концов последнего, но Женьку тоже не сбрасывала со счетов. Однокашник нервничал, даже приходил, кажется, к Женьке разбираться, стоял под дверью и выкрикивал ломким, мальчишеским голосом язвительные, обидные вещи. Кислицын ему не открыл, сидел на кухонном столе и курил в открытое окно.

Кислицын лежал на неразобранной постели — так и уснул в свитере и джинсах уже под самое утро и думал о том, что неплохо было бы сменить замки, на случай, если Анюта все-таки надумает вернуться. А вещи... вещи выставить куда-нибудь на балкон.

Так, баста, хватит ворочаться, в самом деле. Пора подниматься. В квартире холодно: забыл, лапоть, окно закрыть! Нет, все-таки не идет никак этот Славка из головы, случается же. Уколот, уколот, что и говорить. Светика еще приплед, зачем, спрашивается? Хотел побольнее задеть или так, к разговору пришлось? А сам-то хорош, разнюнился, запоздало обругал себя Кислицын. Успокоиться можно, видите ли. Да, в самом деле, пора бы и успокоиться.

Когда-то в смешливой и сияющей юности он был обласкан жизнью, залюблен преподавателями в училище, как были залюблены и все остальные его ровесники, включая Ветрова. Судьба катила Женьку, заботливо огибая дорожные выбоины и ухабы, будто берегла для чего-то большого, настоящего, что вот-вот должно было начаться. Женька ухмылялся и чувствовал свою телесность, свое присутствие во вселенной, он был счастлив и несчастен одновременно, как может быть это только в двадцать с небольшим.

И была там, в той далекой жизни, Светик.

Светик... Светка Калинина — актриса, бровки коромыслом, вечно как бы немного удивленные глаза, егоза, хохотушка и с... — последнее особенно сказалось позже на общем нервном состоянии Кислицына. Им завидовали, ими любовались, их знали в лицо — шутка ли, такая любовь! Встретившись еще на вступительных (ах, этот выверк белоснежной улыбки, тонкая рука, то и дело подносимая с нежному лицу, чтобы поправить непослушные, вившиеся мелким бесом волосы, как потом уже, потом, *после всего*, хотелось ему схватиться за них обеими руками и выдрать с корнем кукольные эти локоны, как выдрать и саму непокорную их хозяйку из сердца), Женька и Светик никогда не разлучались. Вечно можно было увидеть их, идущих прилипшими друг к другу — его рука у нее на плечах, ее — у него на талии — по улице, обращенных друг к другу юными, прекрасными лицами. А если приходилось расставаться, то совсем ненадолго, и то ради того только, чтобы кинуться потом навстречу, вцепиться мертвой хваткой: моя, мой.

Беда была в том, что Светик хотела замуж, и обвинить ее в этом было никак нельзя, потому что, по мнению самого Светика, всякая порядочная женщина хочет замуж, особенно если ей всего лишь двадцать один год. Особенно если ей уже двадцать один год. Так вот, Светик хотела замуж самозабвенно, отчаянно, как будто штамп в паспорте мог открыть перед ней какие-то другие, не изведенные пока, но безусловно прекрасные перспективы. А Кислицын не хотел ничего. То есть ничего из того, чего ждала от него Светик. Из-за этого у них то и дело случались некрасивые сцены. Светик как будто постоянно проверяла Женьку на прочность, пыталась выяснить, есть ли предел у его терпения, она плакала, кричала и заламывала худенькие руки. Но предела у Женьки не было. Он был влюблен и очень молод. Когда ты влюблен и молод, ты можешь вынести все.

Женька каменел лицом, отмалчивался, но потом сдавался и тоже кричал, метался по тесной квартирке, снятой им для Светика где-то в районе Аэропорта, бил кулаком в стену и сбрасывал с полок вещи. Стоял невообразимый грохот. Вся Женькина жизнь со Светиком прошла под этот грохот.

— Ты меня ненавидишь! — выкрикивала Светик. — Ты разрушаешь мою жизнь! Будь проклят тот день, когда я согласилась переступить порог этого дома! Я уйду, уйду от тебя совсем, клянусь тебе!

— Пошла к черту! — орал в ответ Женька. И от злости, от беспомощности перед напором Светика на глазах у него выступали злые, мальчишеские слезы.

Впрочем, именно в этот период Женьке, пожалуй, легче всего давалась профессия: постоянное нервное напряжение добавляло в его роли что-то такое, на что не хватало таланта и мастерства. Вполне вероятно, это было то самое настоящее, неподдельное страдание, которым наполнялся каждый кислицынский день и который страшно мешал ему жить, но делал из Женьки настоящего художника. Оба легко и еще на последнем курсе проскочили в театр, Светик играла инфант и бедных родственниц, Женька — страдающих юношей.

Дело кончилось тем, что Светик ушла. По-настоящему. По несчастливой случайности именно в этот день Женька решил на предложение. Нет, прежде, конечно, было и еще кое-что, чего Женька не замечал, а может быть, и не хотел замечать: официально, Светику дали главную роль. И она носилась, не видящая от счастья, натыкалась на стулья, стол, кровать и все время хохотала. Кислицын радовался: Светик выпархивала из дома, порхала по сцене, порхала по улицам и больше не мотала Женьке душу, была даже приветлива и как-то незнакомо, неистово нежна. В общем, такое поведение Кислицын одобрял, можно было наконец расслабиться, выдохнуть, а тут еще отец Светика прозвонился откуда-то издалека, из Перми или Приморья (да какая по большому счету разница откуда — с такими разговорами всегда звонят издалека), и по голосу его, прорывавшемуся сквозь треск и клекот сотен километров, было понятно, что тянуть со свадьбой больше нельзя.

— Надо жениться, сынок! — прокричал он Кислицыну в трубку. — Ты ведь лучше Светики не найдешь, нет, не найдешь, так что нечего и думать. Точка!

И «сынок» подумал, что действительно пора и что действительно точка. Он собрался мигом и поехал в ювелирный магазин, а оттуда, сжимая в кармане шершавую коробочку, в театр, чтобы застать Светика в гримерной после спектакля и отдать ей это кольцо на глазах у товарок, да не просто отдать, а как-то особенно, чтобы Машка Осипова, заклятая Светикова подруга, побледнела и надула губы, а Маринка Коновалова сказала что-нибудь обидное и злое, но так, чтобы было понятно, что она, Маринка, проиграла, а Светик выиграла. В общем, чтобы был спектакль. Женька ехал в метро и напевал себе под нос «Марсельезу» и не знал, что будет потом. А потом было вот что. Машка подхватила грипп и провалялась с ним с неделю в больнице, вместо нее в состав вышла равнодушная к чужому счастью Люба Ильинская, Маринка уехала,

полюбив кого-то очередного, случайного, но, естественно, на всю жизнь, ночным в Петербург. Светик сидела перед зеркалом одна и задумчиво смотрела на свое отражение. Она глянула куда-то сквозь вошедшего Кислицына и сказала, все так же задумчиво, будто отработывала реплику из пьесы (*ноги бы повыврывать тем, кто пишет такие пьесы!*):

— Женья, хорошо, что ты пришел. Я должна тебе сказать одну вещь: я люблю.

— И я, — поспешно сказал тот.

— Нет, ты не понимаешь, я люблю другого. Надо было сразу тебе сказать, но я все как-то откладывала. Не могла решиться. Ты же понимаешь? Ты должен меня понять, невозможно ждать вечно. Хотя я старалась. Ты же видел, как я старалась. Ну, конечно, ты видел.

— Я видел, — просипел Кислицын. Голос его куда-то делся и теперь никак не хотел возвращаться обратно.

— Ну, и слава богу. Ты не сердись на меня. Ты должен меня понять.

— Ты это уже говорила.

— Да-да... — рассеянно произнесла Светик, — да-да, надо было сразу тебе сказать, но я как-то все не решалась. Это как волна, как тайфун, понимаешь? Сначала кажется, что ты можешь с этим справиться, а потом выясняется, что нет. Я все думала, что любовь бывает только такой как твоя, ни на чем не основанной, зависшей, понимаешь? А оказывается, бывает. Надо было сразу тебе сказать.

Женька продолжал сжимать в кулаке бесполезную теперь коробку так сильно, что казалось, она вот-вот треснет в пальцах и из-под обломков брызнет во все стороны бесполезная кислицынская любовь, которая оказалась не такой, как надо. Ему захотелось, чтобы Светик заболела, прямо сейчас, а лучше умерла, выпала из окна, сгорела, взорвалась.

— Я тебя убила? — спросила Светик, повернувшись наконец к Женьке лицом.

— Отцу позвони, — ответил Кислицын, открывая дверь. К нему наконец вернулся голос, как и способность соображать, — он волнуется, что я тебя в жены не беру, но ты ему скажи, что желающих и без меня достаточно.

Вот, собственно, и все. То есть, конечно, не все, Светик, вопреки мечтам Кислицына не умерла и даже осталась работать в одном с Женькой театре, не рушить же и свою жизнь заодно в самом деле вышла замуж, развелась и вышла замуж еще раз. С годами боль утраты утихла, Женька смотрел на Светика с равнодушной жалостью, как смотрят на тяжелобольного, но, в сущности, чужого человека. Женщины в его жизни случались, но как-то стихийно и всегда бессмысленно, ненужно — Женька никого не пускал к своей обожженной душе, не мог. Случайные подружки возникали неожиданно и так же внезапно исчезали, некоторым Кислицын даже позволял жить рядом с собой некоторое время, но с той же легкостью, с какой вносил вещи очередной девушки в свой дом, выносил их обратно. Там, где раньше в Женькиной груди теплилась любовь, стало пусто и скучно. Разве что Ольга...

Кислицын ловко подцепил со сковороды яичное кружево и свалил на тарелку. Нет, Ольга была не то. В ее полупрозрачном, словно мираж, возникший в лучах полуденного солнца, лике, да что там, во всем ее естестве угадывалась Кислицыным забытая, запрятанная в самые секретные сердечные закрома нежность. И таким хрупким было это иссеченное из памяти, из души чувство, что одним только неосторожным словом можно было его разрушить, раздавить, как запутавшуюся случайно в волосах снежинку. И если бы потом там, на высшем суде, спросили бы Женьку, что же, мол, ты, Женька Кислицын, ни жестом, ни вздохом не дал понять, почувствовать, он бы ответил, что последний дурак только позволит себе так разбрасываться нежданным, невозможным этим подарком. По правде говоря, ни в какой высший суд Кислицын не

верил, но ему нравилось разыгрывать про себя этот диалог, воображать себя, держащего ответ перед кем-то строгим, но всегда внемлющим. Короче говоря, *примерять роль*. Нет, Ольга была совсем не то...

* * *

К концу зимы выбрались на денек за город. В кои-то веки вместе. Спустились с высокой платформы напрямик в нерасчищенное, отчаянно-белое, снежное море, в котором Ольга сразу же утопла по колено — снег набился в не приспособленные для деревенских непролазных дорог сапожки, ужалил через колготки кожу.

— Горе ты мое, — вздохнул муж, вытягивая Ольгу из снежной кучи, будто ребенка, за шкирку, попутно стряхивая широкой ладонью с жениного подола налипшие белые, ледяные кляксы. — Ну, что мне с тобой делать?

— Носить на руках, — отозвалась Ольга.

— Не выдумывай, пожалуйста.

Пока добирались до дому, ноги у Ольги окончательно промокли. Сама она, наоборот, вспотела, перешагивая снежные комья, держась рукой за мужнин рукав, не поспевая за длинным его, размашистым шагом, да и жалея, по правде говоря, что вообще напросилась с ним «проведать птичий люд». Войдя наконец в дом, скинула сапоги, а вместе с ними и спортивные теплые брюки и колготки. Разгуливала в одних трусах меж выстроившихся плотными рядами клеток, откуда сердито поглядывали на нее любимцы мужа.

— Ну, что ты ходишь, как голь перекатная? — спросил муж, в строгую, прямую линию расставляя на столе с десяток мисок — каждому пернатому требовалась свое, особое кушанье: одним полагались раздавленные в паштет вареные яйца вперемешку с гречневой крупой, другим овес, третьим муж заботливо толлок в небольшой деревянной и растрескавшейся от времени ступке хлебный мякиш с запаренным, раскисшим горохом. Тут надо заметить, что, кроме клеток и бесконечных, ютившихся на прибитых к стенам грубых полках банок с зерном, в доме ничего не было. Пол, давно не мытый и потому почерневший, затоптанный ногами, покрыт был ошметками перьев, в комнате стоял душливый запах птичьих испражнений, которые меж тем регулярно удалялись Ольгиным мужем, но запах — запах оставался.

— Не понимаю, как ты мог здесь жить? — спросила Ольга.

— Люди живут по-разному, — откликнулся муж. — Если ты всю жизнь провела в тепличных условиях, не значит, что другие должны жить так же.

— Но ведь *и ты* жил по-другому.

— Лелик, не начинай.

Она не понимала: как можно было добровольно отказаться от жизни? Запереть себя и ее заодно в смердящем, полном возни, клеточке дома?

— Зачем ты все продал? — спрашивала Ольга. — Неужели не было никакого другого выхода?

— Надоело, — коротко объяснял муж. Он вообще не был сторонником долгих разговоров. Все его красноречие доставалось птицам. С ними он шептался, близко-близко поднося лицо к птичьей головке, повторял нежные, ласковые слова, звал детками. Когда-то малая часть мужниной нежности перепала и Ольге, но после иссякла, как иссякает бурная горная река, превратясь сперва в ручеек, а потом и вовсе исчезнув.

Натянув ватные, разодранные с одного боку штаны, сунув босые ноги в калоши, Ольга вышла на крыльцо, подставила тугому морозному воздуху лицо. Над головой у нее неслись светлые рваные облака, обнажая то и дело прогалины голубого, такого голубого, что ломило глаза и заходило в душе, совершенно весеннего неба.

В голубятне напротив дома в это время слетелись внезапно в суровой, похожей на какой-то отчаянный танец схватке два голубя. Бились птицы молча, вокруг них разлетались брызгами клокастые перья.

— Опять они, опять! — завизжала Ольга.

Муж выбежал на улицу, как был, босиком, с ведром воды и, дав рукам разбег, замахнувшись, плеснул на своих подопечных, те разлетелись.

— Слушай...

— Ну?

— Я спросить хотела.

— Быстрей, Лелик, ну, холодно же, ей-богу!

— За что они так бьют друг друга?

— За что... за место вожаچه. За бабу тоже могут. Мало ли у них своих дел.

— За любовь, — мечтательно произнесла Ольга.

— Можно и так сказать, — отозвался муж и пожал плечами. — Хотя какая у них любовь. Они же так, твари. С ними, Лелик, как с кошками! Пока не плеснешь — не поймут. У, сволочи мои! — рассмеялся он и погрозил птицам крупным кулаком. «Что же тут смешного?» — подумала Ольга. Все очарование этого предчувствующего весну февральского дня отчего-то испарилось. Ей стало тоскливо, одиноко в этом большом, но отчего-то несуразном, будто бы собранном из разных, не подходящих друг другу кусков странной, поломанной мозаики, доме: тут фанера, тут малахитового оттенка плитка, тут — кирпичная кладка.

Она представила себе, что было бы, встретить она мужа лет эдак на двадцать пораньше. Нет, конечно, вообразить этого себе было невозможно, она тогда была школьницей, а может быть, даже детсадницей, разница в возрасте у них получалась приличная, но если бы судьба распорядилась всем иначе и Ольга родилась так, чтобы повстречать мужа до того, как он выбрал птиц? Да и не было бы никаких ястребов. Не было бы голубей, клеток, ничего, ровным счетом ничего из того, что так отравляло их совместное с мужем счастье. Только представить, она бы могла играть только для себя, не ездить каждый день на работу, с тем чтобы вечером возвращаться в свою, но ставшую чужой, тесной квартиру. Муж бы, как всякий порядочный человек, ходил бы на работу и покупал Ольге, ну, скажем, туфли или вот хотя бы цветы. И смотрел бы на нее с восхищением. И ведь разве в цветах и в туфлях было дело? Дело было в проклятых птицах. Но Ольга родилась слишком поздно, когда повлиять ни на что уже не могла. Ольга приоткрыла деверь в дом и крикнула:

— Я хочу домой!

— Лелик, не фантазируй! Только приехали!

* * *

Которую неделю Кислицын видел Ольгу ежедневно: премьера была назначена, и репетиции шли теперь одна за другой — Неклюдов, словно боясь быть вытесненным из своего и без того узкого пространства более молодыми и талантливыми, работал до седьмого пота, без выходных и перерывов на обед. То же требовалось и от артистов. Дело, однако, шло плохо: Великий на месяц или даже более того оказался заключенным в госпиталь — по здоровью, шутка ли, не мальчик все-таки, не мальчик, и выстроенная им любовно канва будущего спектакля рушилась, буксовала, словно бог весть как оказавшийся на деревенском бездорожье легковой да к тому же изрядно поизносившийся, автомобиль. На сцене висел густой, плотный, пропитанный потом и ненавистью бестолково, бессмысленно измученных артистов воздух.

В один из муторных вечеров, когда прочие разбрелись уже, едва волоча ноги, по домам, Женька отчего-то задержался и, выпив в буфете бурды, которая совершенно безосновательно именовалась кофе, пошел, сам не зная зачем, обратно на сцену. Там в полумраке за глыбой концертного рояля скрючилась женская фигурка. Кислицын замер. Ольга же наконец выпрямилась и коснулась первым, осторожным движением клавиш. Сегодня в программе ее камерного соло значился «Сентиментальный вальс» Петра Ильича. И пошла наигрывать, вести мелодию негромко, будто шепча, боясь разбудить звук в полную его мощь. Руки пианистки летели над клавишами, лилась из-под них знакомая, неторопливая и ласковая пьеска. Кислицыну видны были только ее профиль и пляшущие кисти рук над клавишами. А Ольга играла и думала, что сейчас, именно в эту минуту проходит, несется мимо ее жизнь, которая, окончившись, не оставит никакого следа. Ольга жалела мужа, чью судьбу она безнадежно испортила, ворвавшись весенним утром в его дом, сияющая и длинноногая. Но больше всего ей было обидно за себя, за ту, молодую и талантливую, которая выпархивала из аудитории музыкального училища, прижимая к себе папку с нотами, и верила в то, что жизнь приготовила для нее все самое лучшее. Но жизнь ничего не готовила, по правде сказать, жизни было вообще наплевать и на Ольгу, и на сотни других таких же порхающих и прижимающих студенток, жизнь шла и сминала на своем пути всех, кто не успевал вовремя вернуться. Во все стороны, как кишки подорвавшегося на гранате солдата, разлетались смелые, правильные мысли, славно написанные тексты, хорошие стихи и с душой сыгранные пьески Брамса и Моцарта, оставляя после себя слегка обрюзгих, с вечно загнанным выражением на лице взрослых людей.

Вспомнила, как несколько месяцев назад встретила Рената Айдаровича Бикташева, гнесинского своего профессора, столкнулись в подземном переходе возле театра. Ему было что-то около восьмидесяти, глубокие морщины рассекли уже лоб и щеки, так что казался он старше своих лет, однако видна была сквозь них бывшая, еще не вполне отступившая, завораживающая какая-то восточная красота, черные глаза смотрели живо, и казалось, будто принадлежат они гибкому юноше, на которого по нелепой случайности накинута тело старика. Он не сразу узнал Ольгу, хотя ей-то казалось, что она почти не изменилась, но сколько, сколько у него было таких, как Ольга? Десятки? Сотни? Хотя что скрывать, именно ее, Ольгу, он выделял особо, можно сказать, пестовал. Почти силком тащил на всякие эти конкурсы-концерты, говорил: «У тебя, голубка, нервные, эмоциональные пальцы, такие были только у двух человек, из всех, кого я знал, у Рихтера и у моей жены». Жена Бикташева разбилась на автомобиле в далеких восьмидесятых — возвращалась с концерта, то ли устала, то ли задумалась, а то ли все вместе. В общем, всю жизнь он таскал на себе ее смерть, неподъемную ношу, справиться с которой было никак нельзя ни через тридцать, ни через пятьдесят лет. И если садился за инструмент, что случалось редко — все больше хотел слышать своих учеников, — то всякий раз играл одно и то же — шопеновский вальс, который, по легенде, тот написал в отчаянной тоске по отвергнувшей его Жорж Санд.

— Единственная любовь, — повторял Ренат Айдарович, и руки его взлетали вверх, едва окончив финальный аккорд, — единственная!

Ольга же была в него влюблена, как только можно быть влюбленной в своего наставника, *учителя*, и за его многолетнюю преданность погибшей жене, и за талант, который, как ей казалось, он понапрасну растратил на бездарей студентов. А мог бы... да кто его знает, сколько всего могли бы мы сами, если бы... Все свои музыкальные заслуги она приписывала ему — он, он один заслуживал ее успеха. Она воображала, как дает концерт где-нибудь в Вене или, может быть, в Нью-Йорке, зал поднимается,

рукоплещет ей стоя, и всегда, всегда в ее фантазиях среди переполненных рядов стоял он, Бикташев, и она мысленно говорила ему: «Вам нечего стыдиться, профессор, посмотрите, что теперь у меня есть, и все это только вам одному принадлежит». А потом... потом было то, что было. Ольга получила диплом, глаза Бикташева забылись, растворились в звенящей и так быстро окончившейся юности. В Вену ее не приглашали, а просить самой ей не хотелось. Да и не умела она просить. Поднимала повыше подбородок — сами дадут. Но не давали. Ольга устроилась работать в театр. Училище она обходила стороной: боялась встретить Бикташева, признаться, что эмоциональные пальцы Рихтера, которые отчего-то достались ей, никому негодились. Но было и еще кое-что угнетавшее, мучившее Ольгу изо дня в день: способность, отчаянная даже готовность с легкостью отказаться от музыки, предать без всякого сожаления и свой дар, и свои руки. С одинаковой живостью (и с одинаковым же равнодушием) готова была она посвятить себя исполнительству и отречься от клавиш раз и навсегда. В незримых беседах являлся к ней Бикташев и спрашивал, хмуря густые, дугами выгнутые брови:

— На что ты тратишь свою жизнь? Кто позволил тебе так *не распорядиться* своим талантом?

И Ольга жила, придавленная к земле чувством неискупимой вины перед профессором, вины за неспособность ужиться с самой собою, неспособность сделать музыку единственным своим богом и повелителем.

— Что-то тебя не слышно, голубка, — посетовал Ренат Айдарович, — а ведь я все ждал, что греметь будешь.

— А я не гремлю. — с вызовом сказала Ольга, — не всем же греметь.

— Очень плохо, — отозвался Бикташев. — Жизнь, Оля, надо держать за кадык. А не умеешь, значит, слаба, ростом не вышла — считай, попала в отбраковку. Жалеть о тебе никто не будет.

Махнул рукой тяжело, по-стариковски, потерял к Ольге интерес. На том и расстались.

— Ай-ай-ай, — на разные лады повторяла какая-то старуха, рассевшись в своем худом пальтишке прямо на пыльном полу перехода, и тянула, тянула тощую ручку куда-то перед собой. Бикташев давно ушел, а Ольга все стояла, слушала этот то ли говор, то ли птичий клекот — одним словом, чудной напев. Единственная любовь! Единственная!.. И руки летят вверх, будто забыв, что они — руки, и мнят себя крыльями. Потеряно, упущено навсегда было что-то важное в Ольгиной жизни, что-то, чего она не могла ни вернуть, ни окликнуть.

Ольга заплакала.

И тогда Кислицын наконец шагнул к ней из-за кулисы.

— Это я, — сказал он, и Ольга подняла на него мокрое, с черными дорожками растекающейся туши лицо.

Оба они были будто бы не вылеплены до конца... Недокормыши...

— Однажды опоздал на дипломный спектакль, — сказал Женька, как будто продолжал давно и некстати прерванный диалог, усаживаясь возле Ольги на узкую скамеечку. — И знаешь, почему-то совершенно не было страха, вошел, развалился еще так вальяжно в заднем ряду. Казалось, понимаешь, что все важное в жизни уже сделал. Меня к тому времени зачислили в труппу театра, так при чем тут институт? А ко мне подошел наш мастер, эдакий царственный старик, всегда был спокоен, как бетон! Посмотрел как на дерьмо, сказал: заберешь в секретариате свой приказ об отчислении. И это за месяц до выпуска! Объяснял ему что-то про любовь к искусству, к театру — махнул рукой, помиловал, оставил.

— И что потом? — спросила Ольга. Она перестала плакать и теперь смотрела на Кислицына внимательно, даже с интересом. Женька развел руки в стороны, будто демонстрируя то, что было потом — себя сегодняшнего. И Ольга увидела вдруг, что Кислицын, оказываясь, хорошо, крепко сложен, будто высечен из единой каменной глыбы, с любовно выверенными деталями, от худощавых ног до густой, выпуклой паутины вен на тыльной стороне ладоней. Женькины глаза (а они-то, вот в чем дело, были зеленые! Бутылочного цвета глаза!) смотрели ласково и одновременно с тем жалобно, как будто Кислицын о чем-то просил Ольгу, о чем-то, что заранее, сразу было невозможно.

— Ты зачем мне звонил? — спросила она.

Кислицын замер. Догадалась? Но как? Рассказали? Почувствовала? Он молчал, беззащитно улыбаясь, как будто надеялся, что она и так все поймет, что ничего не придется объяснять, тем более что и объяснять было нечего. Он не мог не звонить. Не мог, и все. Неведомая сила заставляла его, Женьку Кислицына, актера средней руки, вечного героя-любовника в отсутствие возлюбленной, уставшего от собственного одиночества и в то же время неспособного с ним распрощаться, ах, *сапожник без сапог, так вот как это бывает*, звонить ежевечерне этой, по большому счету, едва знакомой женщине, чтобы до умопомрачения, до дрожи в руках слушать ее растерянное «Алло».

— Не знаю. А почему ты плакала?

— Не знаю.

Кислицын осторожно взял Ольгину ладонь, поднес к губам и поцеловал в самую серединку.

И ей подумалось отчего-то, показалось, что вот с этим растрепанным, зеленоглазым, едва входящим в зрелость, смешным человеком можно было бы успокоиться, перестать наконец бежать за ускользящей, неслучившейся полноводной судьбой, прижаться душой к душе, и, наверное, им обоим стало бы не так одиноко, не так тоскливо жить.

— Увези меня, — попросила Ольга.

— Куда? — спросил Кислицын.

— Все равно! Увези меня, — повторила Ольга, — только насовсем. Навсегда увези, понял?

Кислицын представил, как Ольга недорисованная, но уверенная вселяется в его квартиру, перекладывает с места на место его вещи, почти наверняка запрещает курить в окно и *залезиваться*, подстраивает его жизнь под свою и, что самое ужасное, просто невыносимое, каждое утро моется в его ванной, запершись там часа на полтора и мурлыкая себе под нос песни. Справедливости ради стоит заметить, что Ольга никогда и ничего не мурлыкала себе под нос и душ принимала, в крайнем случае минут по пятнадцать. Но Кислицын этого не знал. Зато он помнил, как делала это Светик, любимая и ненавистная до тошноты Светик. Светик, которая ушла, выдрав у него из груди сердце, и бросила, его, Женьку, жалкого и распотрошенного, умирать. Кислицын почувствовал, как живот у него скручивает от нечеловеческого ужаса, он отчего-то перекрыл и смятение в сердце, и шум в голове, который звучал в ней всякий раз, стоило Женьке приблизиться или хотя бы заговорить-подумать об Ольге. Кислицын почувствовал, как покрывается весь холодным липким потом. Ему стало дурно.

— Поехали домой, — попросил наконец Женька. — Поздно.

— К кому? — не поняла Ольга.

— Ты к себе, а я — к себе.

Ольга отвернулась от Кислицына и стала смотреть куда-то в пустой зал, внимательно, будто силилась разглядеть там, в длинных, багровеющих в темноте рядах что-то такое, что было знакомо и понятно ей одной.

— Оля, — позвал Женька. — Оля...

Но она не ответила. Он посидел возле нее, внезапно окаменевшей, незнакомой, еще несколько минут, потом встал и поплелся вон. На душе было пакостно.

Спектакль (вот уж кто бы мог подумать-вообразить, что случится такой скандал) сняли сразу после премьеры. Главный, Великий, Всенародный и так далее и так далее, отлежавшись в госпитале, попал прямиком на показ и разнес неклюдовскую постановку в пух и прах, дескать, студентка, балбес и недоучка и то лучше справился бы, сценарист, знаете ли, ни к селу, артисты ползают у вас батенька, что сонные мухи по сцене, пианистка, черт бы ее побрал, как корове пятая нога, глаза б мои ее не видели. Но особенно, особенно, болтали злые языки, безжалостен был он к некоему Евгению Кислицыну, которого обвинял и в полном отсутствии органики, и в манерности, мол, плюсуешь, сынок так, что дышать больно, и бог знает еще в каких, одним артистам и ведомых, грехах, за которые не то что гнать со сцены поганой метлой, а жечь, жечь на костре, чтобы другим неповадно было. Неклюдов, проведя неделю в беспамятстве, а после еще две в запое, вернулся под крышу родного *театрального* дома с умиротворенным, но несколько постаревшим, усталым лицом, которое не выражало ровным счетом ничего. О других же участниках конфуза было известно и вовсе мало, так что пересуды вскоре утихли и все занялись своими делами.

Кислицын с Ольгой виделись еще раз или два, прежде чем она уволилась: ее позвал аккомпанировать какой-то мэтр, то ли флейтист, то ли кларнетист, имя его тогда гремело, в обозримом будущем маячили поездки в другие далекие и неизвестные Ольге страны, и она неожиданно согласилась — не бог весть что, но не всем же, в самом деле, не всем же... кто-то должен и аккомпанировать. В день, когда Ольге следовало заскочить в театр, разобраться с кое-какими делами, она сказала мужу:

— Я уволилась.

Тот стоял, согнувшись над кухонным столом, и мастерил клетку для одной из птиц. Он был очень занят. Ольга ему мешала.

— Вот как, — ответил муж. Больше он ничего не сказал, ему казалось, что этого достаточно.

— Да, я уволилась, — повторила Ольга с нажимом и подошла к мужу почти вплотную, как будто у него было плохое зрение и он мог не разглядеть жену, не заметить. — Потому что я не могу так больше жить. Потому что в моей жизни нет жизни!

— Вот как, — снова произнес муж и принялся, морщась, подтягивать петли на дверце.

Ольга почувствовала, как к щекам медленно поднимается жар — и была в этих ее пылающих щеках невысказанная обида, ненависть, тоска по чему-то неслучившемуся, невозможному. Ей захотелось ударить мужа.

— Видеть тебя не могу! — закричала она, а потом схватилась обеими руками за готовую почти клетку и швырнула ее на пол. Дверца отлетела и теперь лежала сиротски, как будто вся клетка была живой и у нее оторвали какой-то жизненно важный орган, без которого никак нельзя дышать. Мужу тоже показалось, что клетка была живой. Он бережно, не глядя на Ольгу, водрузил ее обратно на стол. Потом спросил:

— Что ты от меня хочешь?

— Я хочу, чтобы ты спросил, счастлива ли я! Чтобы ты раз в жизни поинтересовался у меня, испытываю ли я счастье!

— А ты не счастлива?

Тогда Ольга кинула клетку еще раз. И от нее снова что-то отвалилось.

— Я сейчас уйду, — предупредил муж.

— Уходи, — легко согласилась она.

Он собрался неторопливо, как будто ждал, что Ольга остановит, но она не остановила. Аккуратно прикрыл за собой дверь.

— Да есть в тебе хоть что-то живое, наконец?! — крикнула Ольга, высунувшись на лестничную клетку.

Муж не ответил. Потом вошел в лифт и уехал. Ольга осталась стоять, наполовину в квартире, наполовину в коридоре, растрепанная, красная, и была в этот момент особенно некрасивой.

* * *

Муж с электричкой ехали вперед, а мимо них в обратном направлении пронеслись снулый еловый частокол — снег еще не сошел, но уже порядочно скукожился под деревьями, одряхлел, обрюзг. Вместе с елками убегали от мужа и шесть лет жизни с Ольгой. Он вспомнил, как она впервые вышла к нему неодетой, мягкой, будто оставила вместе с платьем где-то на полу и свое упрямое, веселое нахальство. Он смотрел на нее и никак не мог налюбоваться круглыми гладкими бедрами, длинными руками, брошенными вдоль тела небрежно, неосторожно.

— Красивая? — спросила Ольга.

— Красивая, — согласился муж.

— А вот и врешь! Вот и врешь! — крикнула.

— Не вру.

— А ты поклянись! Скажи: провалиться мне на этом самом месте, если я вру! — и засмеялась свободно громко, как смеется только женщина, сознающая свою сокрушительную силу, и бросилась к нему, взлетела, обхватила руками, ногами...

— Да что ж ты делаешь, Леленька, перестань!..

На ближайшей станции он вышел из тряского, прогорклого вагона и поехал обратно. Отчего-то, может быть, впервые и так остро, тоскливо почувствовалось: дом — там, где Ольга, а без нее — так, непонятно что. Дыра, оставленная упавшим метеоритом.

Меж тем Ольга подписала в кадрах заявление и даже выпила с заведующей зеленого чаю («Слышали, Оленька? Говорят, зеленый-то чаек понижает кислотность в желудке... Или повышает? А Бог его знает, что он там делает, главное — на пользу идет, вы пейте, пейте!» — «Да я пью, Галина Яковлевна»), церемонно подняв чашку, как бокал, и чокнувшись за новую, ну конечно, счастливую, конечно, нечего и думать-гадать, жизнь. Расцеловавшись трижды, подхватила свою вольную и полетела прочь. Заглянула в зал — попрощаться с инструментом. Подняла крышку, нажала на клавишу — рояль отозвался глубоким, тяжелым звуком.

— Ты прости, милый, — прошептала ему Ольга. Захлопнула крышку.

Выйдя уже на улицу, на крыльце столкнулась с Кислицыным.

Он распахнул руки и шагнул к Ольге, как бы приглашая ее в свои объятия. Как у тебя все просто, подумалось ей. Ольга отступила назад, к двери — Кислицына с руками никак нельзя было обойти.

— Не подходи ко мне, — попросила Ольга и тут же зачем-то добавила: — Пожалуйста. Не подходи ко мне, пожалуйста, иначе я все тебе прощу.

— Что все? — удивился Кислицын. — Я ведь ничего не сделал.

— Вот это и прощу, — ответила Ольга и сделала еще один шаг назад, правда, совсем маленький, но этого хватило, чтобы оказаться вжато в дверь.

— А я, может быть, хотел упасть к твоим ногам и пролежать у них всю оставшуюся жизнь, как пес, — обиделся Кислицын, хотя это не было правдой, но ему хотелось

«поддать драматизма» — Ольга ускользала от него, остановить ее было никак нельзя, и от этого Женьке было больно в районе грудной клетки и жалко себя. Весь вид Ольги, вжатой в своем бутылочном пальто в закрытую дверь с надписью «Служебный вход», отчего-то заставлял его остро сознавать и собственную ненужность, и неизбежное, непоправимое одиночество.

Ольга тоже почувствовала, что Кислицын хочет «поддать». И ей от этого почему-то стало весело. Она отодвинула все еще протянутые Женькины руки и принялась спускаться по ступенькам не оглядываясь, молча, прикрывая ладошкой рот, чтобы ничем не выдать внезапного, нервного веселья. На полпути Кислицын одним прыжком догнал ее и схватил за рукав. «Как в дешевом сериальчике», — подумалось Ольге, и от этого стало еще веселее. Она расхохоталась, смешно отмахиваясь от Женьки свободной рукой. И все закончилось бы совсем мирно, если бы в этот момент не приехал Ольгин муж, не приехал и не увидел, как Кислицын в узеньком модном пальтишке цвета маренго, оскальзываясь на блестящем, подтаявшем льду, бежит за его женой с особенным, отчаянным выражением лица и даже хватает ее за рукав. Мужу все сразу стало ясно, и он тоже побежал, оскальзываясь, и совершенно невежливо схватил Женьку за шиворот, и повалил на землю, и ударил ногой по ненавистному маренго.

Когда нога Ольгиного мужа достигла тела Кислицына, Кислицын услышал, как в нем что-то хрустнуло и тут же отозвалось глухой болью там, куда вонзился мужнин ботинок. Кислицын заскулил.

— Не смей его трогать! — ворвался вдруг в кислицынскую боль Ольгин крик. А может быть, это и не она была, слишком уж высокий, чужой какой-то был голос. — Я клянусь тебе! Слышишь? Я клянусь, если ты оставишь его в покое, я останусь с тобой! Я всю жизнь с тобой!.. Слышишь?! Всю жизнь!

И второй удар не случился. Грубая рифленая подошва замерла над скрюченным Кислицыным и отступила, бессильная перед Ольгиным криком. Выходит, кричала все-таки она? Мысли в голове у Женьки путались и никак не хотели становиться на место. Он лежал, уткнувшись лицом в рыхлую февральскую хлябь, и никак не мог сосредоточиться на чем-то одном. Перед глазами его проносились, возникая и тут же растворяясь лица: Ольги, Светки, Ветрова, но ни одно из них не получалось удержать в статике. Лица кривлялись и похохатывали.

— Хай живет, — разрешил муж.

Кислицын наконец встал и, не отряхиваясь, не оправляя подола пальто, пошел прочь. Ему не хотелось оглядываться, не хотелось видеть Ольгино недорисованное лицо, ему ничего не хотелось. Даже курить.

Он шел по улице, а его провожали недоуменными взглядами люди.

Впрочем, скоро его перестали замечать.

У всех была своя жизнь, и тратить ее на незнакомого грязного Кислицына никому не хотелось.

А Ольга с мужем ехали в метро. На мужнино лицо вновь вернулось выражение отстраненной сосредоточенности.

На муже были очень дорогие, хорошие ботинки, еще из той, прошлой жизни. Нос одного из них теперь изуродовала корявая, рваная по краям царапина — следствие неравного боя с Женькой.

— Ты поцарапал ботинок, — сказала Ольга.

— Что я должен сделать? — спросил муж.

— Ничего, — ответила Ольга и положила ему голову на плечо.